ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА

И СТАЛ ОН МОЙ, ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

РАССКАЗ

Год мой начинается не первого января, а только под Сретенье, в середине февраля, в самые рассугробы, разметели, в стужицу. Заглянув в Святцы, бабушка нарекла меня Татьяной, и родные не заспорили, не стали перечить. Склонившись над люлькой, пригляделись к новорожденной получше и обнаружили, что как раз это имечко дитяти и к лицу.

От раннего детства у меня остались обрывочные воспоминания. Вот я просыпаюсь в подвязанной к потолку люльке. Она опущена на такую высоту, что бабушка, сидя за ткацким станом, может в любой момент меня подкачнуть. Копошусь в одеялах, сбрасываю поясок-свивалень. Маме наперекор, бабуля почти до двух лет обвязывет меня им, "чтобы статной росла да чтоб сама себя ручонками не будила".

Выбравшись из баек-фланелек, устраиваюсь половчее и дивлюсь, как сторожко такают в тишине ходики с охрипшей престарелой кукушкой; как сноровко управляются бабушкины руки с мельтешащим туда-сюда челноком; как, поддев коготком, выкатывает из плетёной корзины и гоняет по горнице разноцветные шерстяные клубки мой не знающий ни рода своего, ни племени, дёргающий у бабушки из прялки "куделю" мой самый обожаемый друг – полосатик Барсик.

И вообще – вокруг столько манящего! Да хотя бы дедушкина недоработанная со вчерашнего вечера плетушка. Ишь, развалилась в углу хаты, будто барыня! Мир вокруг меня такой огромный, и конца-края ему не видать! К то-

---

ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила Орловский пединститут. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Губернаторской премии (Орёл), премии им. Е. И. Носова, премии им. А. Платонова "Умное сердце" и др. Живёт в Орле.

му же пока он для меня совершенно неведом и таинственен. И это так здорово! Всю оставшуюся жизнь можно заниматься его разгадыванием...

Солнышко зацепилось за стреху. Печка уже по-хозяйски протоплена, позднее утро. Бирюзово. В палисаде устроили базар синички – вот потеха! Дедушка с утра развесил на яблоневых веточках, поближе к окошку (чтобы мне было видно), кусочки сала, вот птички-то и столуются, лакомки. В углушку подоконника, в "проевшемся" жестяном бидоне – полынный букетик – меж духовитых былочек золотятся бессмертники.

С люльки сброшена тюлевая занавеска, и мне хорошо видно, как завтракает печка – мумлит, жуёт широченным беззубым ртом бордовые уголья. Розовые отсветы жара играют на загнетке. Печурка покрякивает и причмокивает от удовольствия, лакомится, словно ветхая старушонка, переспелыми калиновыми ягодами: и горчит, и вкусно. А может, пожалела бабуля сиротинушку, расщедрилась да моей любимой кашей угостила? И пригашается вдруг моя радость.

Чую знакомый запах. Мотай, братец Барсик, на ус! Каша в нашем дворе знатная, хитрая! Так оно, конечно! На пяти крупах стряпана: тут тебе и маночка, и греча, и рис, и геркулес (как же без него?), и, конечно же, пшенцо. Маслицем топлёным сдобрено, в печке утомлёно, распарено.

Барсик от эдакого корму уж и в форточку не протискивается. Приноровился, мышатник, как только отвернётся бабуля, он, на-ко, что выкидывает: из моей миски хап да хап. Растянулся, пристроился, ну, не отпихнуть жирнющего! Развесит свои шкодные уши, "ума покупает!" и, "ну, ни капелюжечки не внемлет".

С бабулей у него на этот счёт нелады. Как обнаружит она котейкины проказы, тут же учиняет тарарам, щуняет его, рыжехвостого: "Нешто так-то можно?" А ему – всё нипочём! Сожмурит зелёные глазёнки и давай свои мур**ы** водить.

Григорьевна – я уже знаю, так все мою бабушку, мамину маму, кличут – оставляет работу, поправляет напяленные по случаю крайних холодов свостоженные из собачьей шерсти ходоки и, словно Барсик на своих пушистых лапках-пампушках, отправляется хлопотать у печи. Рогачами выхватывает с жару (видать, отбирает у прожоры, а то бы мне и пеночки не досталось!) чугунок разомлевшей на сливочках каши. Достаёт из-под припечки заслонку, прилаживает на загнетку, и, наконец-таки, печища захлопывает неуёмный рот. "Сыта, видать, – решаю, – спать отправили. И верно, пусть каша поуляжется, а то – не ровён час! – беда приключится: треснет толстуха. Где же мы тогда станем с бабулей сказки друг дружке сказывать?"

"Ну, солнышко, соловья баснями не кормят, пора и подкрепиться, – Григорьевна с безграничной нежностью усаживает меня на колени, натягивает на мои ножонки переночевавшие в печурке, "для сугреву", точь-в-точь, как и у неё (из пушистой смоляной Полкановой шерсти, только совсем крохотные) вязанки-тапчонки.

Снимает с керосинки сипящий чайник, водружает на стол. Чай она любит. Любит пошевелить ложечкой крыжовниковое варенье, прихлебнув кипяточку, коротенько потолковать о предстоящих на дню житейских делах.

Восседаю на высоченном, слаженном дедушкой липовом стуле. С бортиками-подлокотниками, "чтоб не бабахнулась", с белогрудыми гусями-лебедями по спинке.

Края деревянной ложечки – "любо-дорого поглядеть!" – источены, изгрызены моими молочными зубёнками. Пробую на очередной режущийся зубок всё, что попадается под руки. Откапываю рисованных, спрятавшихся под кашей, на дне миски, проныру Патрикеевну и румяного, веснушчатого, словно бабушкины плюшки, в маковых зёрнышках, Колобка. Кашей замурзано всё, до чего могу дотянуться.

Григорьевна неотступно принуждает меня к самостоятельности. Недосуг ей из-за немереных никем бабьих дел. Время "ни граммочки на праздные посиделки нетути", то и дело хлопает калитка – работы и в дому, и на дворе, да и на бакше – невпроворот, "под вечер ухайдокаисся!": то горсть-другую крыжовника собрать, то под "клуху яичков подсыпь, то корехвостом картохи от жука сбрызни, живём-то – пню поклонисся!" И побаловала бы внучонку бабуля, да когда тут!

А в три года, когда без разбору – где надо и где не надо – пытаюсь лепетать наученное бабулей "спасибо", я уже знаю, что, оказывается, у всех людей есть именины. Это такой вкуснющий праздник. С бабушкиным пирогом, на который (люди милые!) раным-ранёхонько, чуть забрезжит, конечно, если детки вчера не капризничали, когда их кормили рыбьим жиром и горькими микстурами, и вообще вели себя хорошо, слетает золотистый, румяный ангелок.

Замечательный праздник – именины! Душа тонет в блаженстве! С купанием, оттираним "до блеску" (загодя, ещё с вечера) в большом жестяном корыте, пропахшем духовитым земляничным мылом, с самым ранним подарком – дедулиной, спрятанной под подушку, вырезанной из ракитового сучка дудочкой-свистулькой. Со сшитым мамой (тютелька в тютельку!) на недосягаемой для меня заветной игрушке – швейной машинке – нарядным, с оборочкой по подолу, платьицем. С папиными новыми книжками про Снегурочку да про зайкину избушку, с покупными карамельками-подушечками.

С утра бабуля умывает меня водицей из маленькой склянки с Божницы, даёт глоточек испить и важно радует: "Ну, солныш ты мой яснай, готовься менины справлять!"

Только много лет спустя узнаю, что в старину Татьянин день называли "Солнышем". Потому и бабушка меня так ласково называла. А ещё этот праздник известен как Татьяна Крещенская. Дня за окошком ровно на "воробьиный скок" прибывает, но сила солнца уже обретает значение. "Солныш" – так называется самое тёплое место в доме, "к солнцу повёрнутое" – устье печки. Недалеко и зыбка моя висит. Бабуля стряпает у печи, и я тут же. В народе считается: рождённая в эти дни одарена светом, крепостью и надёжностью. Какие бы лютые морозы ни стояли, Татьянин день всегда солнечный. А солнце ещё с древнейших времён для славян, особенно для русского народа, имеет священный смысл.

Переступив школьный порог, я чувствую, что бабушка живёт какой-то иной жизнью, чем страна, в которой не только "не помнят Бога", но порою и рода-племени. Она сама, хата её с образами *в красном углу*, с запахом елея от прокопченной лампадки, с тяжеленной старинной "Библией" на липовой этажерке, с протяжными-грустными песнями вьюжными декабрьскими вечерами, с бездонным нафталинным нутром допотопного сундука, в котором запрятана всяческая бабья справа, кажутся настолько древними, словно сошедшими со страниц моих любимых сказок. Спустя много лет, только теперь понимаю, насколько мудры были бабулины речи, как не терпела она слащавого сюсюканья и праздных словес.

Из года в год на Татьянин день, следуя какому-то давнишнему обычаю, везла она к реке, туда, где, поджав от стужи ноги, стоят, смотрятся в ледовое зеркало широкие вётлы, к проруби, вдоль снежных намётов, на деревянных хозяйственных салазках домотканые дорожки, круги-половики да диванные покрывала. Стужа – хозяин собаку из дома не выгонит, самые раскрещенские морозы.

Покрасневшими от каляной воды руками (словно лапки голубиные!) полощет заядлая чистюля на лютом ветрище своё "тканство", отбивает, не переводя духу, колотит их на камушке "как следно" берёзовым, с резными завитушками, валёчком, промытым за несчётные годы до синь-бела.

В этот день, чтобы не ударить лицом в грязь на угощенье, она домовничает с особым усердием, с тихой, светлой радостью. Меня ж пренепременно "наряжает за-ради менин", но не броско, приговаривая при этом: "Татьяна должна всему и во всём меру чуять". Откуда уж моя родная это знала, один Господь ведает.

Говорит Григорьевна всегда уверенно, будто пророчествует. Как сейчас, помню её слова: "Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и корогод ведёт!" Греческого бабуля не знала, а имя моё, оказывается, переводится на русский как "Труженица". Вот так удружила! Но родимая, видать, и сама не догадывалась, какую судьбу уготовила любимой внучке с таким именем.

Как бы там ни было, но дорожки и ковры в крещенском снегу в этот день я обязательно (следуя старушкиным заветам) по сей день чищу. Занесу с мороза в дом – и дышится легче, словно хворобы из дому повыбила-повыгнала.

Уж сколько лет прошло, а вот вспомнилось – у бабули на мои именины была куча примет. Коли солнце красно заходит за лес – к ветру колючему.

Снег на Святую Татьяну – быть летом частому дождичку. А уж если солнышко поутру выглянуло да до полудня простояло над деревней – птицы рано возвернутся, весне, знать, дружной да бурной быть.

Катится, катится, потихоньку разматывается клубочек воспоминаний... Будто наяву видится... Мне – восемь. В Татьянин день остаюсь переночевать у бабушки, благо школа рядом, утром можно не торопиться.

Вечером, "справив менины", забираюсь на печь, а уснуть не могу: подарки вспоминаю, драгоценные фантики от карамелек в коробке перебираю, бабушку поджидаю. Захлопоталась неугомонная, задерживается где-то, наверно, сворачивает на столешнице ворох стираного белья. Ну, теперь "до морковкиных заговён" не дождёшься!

Лежу-лежу, а её всё нет и нет. Не могу уразуметь, что за оказия? Может, присела на кухне с краешека резного деревянного диванчика, плеснула в кружку кипяточку на ягоднике да и задремала, устав от немереных никем бабьих дум? Соскальзываю с печи, смотрю: дверь в дальнюю комнату приоткрыта.

Шажками, шажками, подхожу, слышу шёпот: "О, Святая мученице Татиано, прими ныне нас молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молися о нас, рабех Божиих, да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклонитися в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Любопытство охватывает меня, и я на цыпочках подкрадываюсь к комнате, боясь нарушить бабулино священнодейство, замираю в нерешительности у дверей. Тусклый свет крошечной лампадки отражается в просторном зеркале, выхватывает из полумрака белеющую рубахой, стоящую на коленях перед иконостасом Григорьевну. Почуяв меня, она встаёт, манит к себе. От лампады проникает во все уголки комнаты, просачиваясь сквозь щёлку двери на другую половину хаты, разливается очень знакомый запах... елейный... родной... бабулин. Перед одной из икон – оплавленная свеча. Причудливо сплетаются ласковые тени. Дремотно тактакают на кухне ходики.

– Подойди, солнышко, поближе. Это твоя Святая... Татьяна... за тебя со мною просит у Господа денно и нощно. Хочь бы пожалилась ты ей об чём своём, вить она тебе не седьмая вода на киселе – родненькая! – перекрестившись на образок, вздыхает Григорьевна, гладит шершавой своею лаской мои золотистые мягкие локоны.

Небольшая в недорогом окладе иконка... Женщина в красных одеждах. В правой руке – крест, в левой – кадило.

– Бабуль, почему она такая строгая?

– Дак, как же не посуроветь, коли житие такое! Кабы завтра тебе не в школу, обсказала б.

– Бабулечка! – подластиваюсь, ровно Барсик, – проснусь, как кликнешь, сразу и вскочу.

– Давно думала тебе об ей сообчить. Что говорить? Сколь мне пожить ещё осталось – не ведаю, а тебе не след – житие своей Святой Заступницы не знать... Ну, смотри у меня, Татьяна! Спать ведь пора, кочета уж полночь пропели! Поутру чтоб – как штык!

Перебираемся на печку. Здесь ядрёно пахнет раскинутым по кожуху для просушки овчинным тулупом, заткнутыми в печурку дворовыми валенками. И я, разомлевшая от этого духа, смешавшегося с ароматом поставленных на ночь хлебов, подсушивающихся на камушках под постилкою гарбузных семушков, упредив бабулю: "Только не говори: жил-был царь Овёс, он все сказки унёс", слушаю удивительный рассказ о древней героической христианке.

– Давно это, солнышко, было. В чужом городе – Риме... Как читала я в житиях, родилась Татиана в богатой да знатной семье. Отец её аж консулом в ихней империи состоял. Семейство исповедовало веру праведную, потому и дочь свою воспитывали в благочестии, в христианстве. А как возросла девица, надумала замуж не идти. Читала я у Димитрия Ростовского, что за свою добродетельную жизнь поставлена она была диакониссой. Случились в те времена, в году 226, гонения на христиан. Схватили Татиану и привели в храм Аполлона для поклонения ему.

– А кто это, бабуль, почему ему поклоняться-то надо?

– Дак, внученька, по ту пору язычников было боле, чем христиан пра-

ведных. А энтот Аполлон – божок языческий... Не могла она, знамо дело, этого свершить и вознесла молитву Иисусу Христу, и произошло землетрясение великое. Статуя божка-то развалилася, и храм их рассыпался. В житиях прописано: "Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причём все слышали вопль его и видели тень, пронёсшуюся по воздуху".

Бабушка Григорьевна молчит, будто погружается в прошлое... От волос её пахнет мятным квасом... От рук – вишенником и укропом...

– Бабуль, а дальше-то что? – ёрзаю, тереблю её, увлёкшись преданием.

– А потом... и рассказывать жутко, каким пыткам подвергли Татиану нехристи! Но следы мучений с её тела исчезали, как и вовсе не бывало. К тому ж объявились чудеса!.. Сничтожился в пыль, рухнул – камня на камне не осталось, языческий храм, усмирился злющий лев, на съедение которому была брошена святая.

– Значит, Татиана победила всё-таки язычников? – забегаю наперёд.

– Победила, конечно, победила... Духом... Жрецы остригли её, мол, "чтоб не волхвовала", и заперли в храме главного своего бога, а как возвернулися, смотрят: статуя бога разбита, а Татиана жива, невредима. Не справился их божок с Великой верой Христовой!.. Татьяне вынесли лиходеи смертный приговор, и она вместе со своим отцом была усечена мечом. Мученическую смерть приняла двадцать пятого января... Видать, Господь дал ей посох по силе её... Честь не малая...

– Бабулечка, что же ты темнила, не рассказывала мне раньше о Татиане?

– Батюшки! Как же, – Григорьевна спадает с лица, – расскажешь тут что путное! Поди попробуй! То концерт к седьмому готовите, то правила октябрятские зубришь... Я вам – слово, а вы мне – десять!.. А что бы не подойти, не сказать по-доброму? Хочь бы польза какая с того была... с дикой ягодки и вино дикое... Спит-ко, солныш мой яснай, утро вечера мудренее.

Так и возрастаю между бабушкиными сказами о житиях Святых и походами с родителями на спевки в колхозный клуб.

За более чем тысячелетнюю историю в краю нашем изменялись и обычаи, и религия, и быт, и характер, и уклад... А у старушки моей "вся жистюшка" прошла в одной заботе о работе, да опять о ней же, родимой, "дыхнуть некада, пожалобиться некому", редкие остановочки – Двунадесятые праздники, и в довесок – опять работа, работа. Сухарики житние. Так год от года... Она бы напомнила: "Ну, так Даниил-то Заточник что сказывал? "Злато искушается огнём, а человек – напастями".

Серый, в мелкую клетку подшалок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад... Радостей – на пятак. Жизнь – то обочь, то – вдоль, то – поперёк... Не до жиру... Каждая морщинка, каждая вздувшаяся жилка моей р**о**дной была прописана заботой о хлебе насущном... Но главное – каждодневная молитва: "...Уразуми, Пристальноокий Отче!.." за нас всех... – уклад простого русского человека, испокон веков ведшийся на Руси до самого семнадцатого года. "Коли не болит, не ноет об ком сердце, так и жизнь никчёмна, пуста... Хорошо-то ведь на свете када? А када на душе хорошо", – уверяла бабушка.

Прикипела и моя душенька к ней! По пути в школу каждый раз забегаю к бабуле Григорьевне, иногда остаюсь на выходной. Общение, разговоры с ней выпадают целительной росой на мою разгорячённую душу. Хочу того или нет, но слово Божие, благодаря бабушке, оседает и накапливается в потаённых пластах моей детской души, омывает и подпитывает её корни, закрепляется в ней навечно, чтобы не сумела забыть Христово ученье, чтобы когда-нибудь и мои внуки узнали его от меня.

Моей ранней весной мудрая бабуля, несмотря на безбожные времена, умудрилась посеять во мне, словно на нови, на только что вспаханном поле, благодатные семена Православия, и теперь даже в самые горькие минуты, взгляд мой и сердце моё устремлено в просветлённые выси.

Наш давний и дорогой друг Татьяна Грибанова отмечает юбилей. Поздравляем талантливого прозаика и поэта! Желаем новых творческих свершений, здоровья и счастья!

Редакция